**А.Н. Стрижёв**

# МОЙ СОЛЖЕНИЦЫН

***Аннотация.*** Статья представляет собой воспоминания автора о встречах с Солженицыным и размышления о нем.

***Ключевые слова:*** Солженицын; воспоминания.

***Strizhov A.N.*** *My Solzhenitsyn*

***Summary.*** The article deals with the author's reminiscences and thoughts of Solzhenitsyn.

***Keywords:*** Solzhenitsyn; memoirs.

*Светлой памяти*
*Елены Цезаревны Чуковской – посвящаю*

Правильно ли я вывел: Мой Солженицын? Для себя – правильно. Говорим же: Мой край родной. Он для всех, но что-то есть особенное, личное – для меня. Простор солженицынской прозы неохватен, а есть в нем и твой окоем. «Мой», стало быть, усвоено моей душой и возвысило чувства, и этот «мороз и жар восторга», о чем упоминалось встарь, пронизал насквозь собственное существо. Ведь сказала же Марина Цветаева: Мой Пушкин. Он тоже един для всех, но в чем-то принадлежит только ей. Солженицына у нас не навыкли еще читать – захваченность повседневьем застилает глаза, сбавляет зоркость. Но слово имеет особенность – созревать, и оно со временем поспеет во всем глубинном смысле. Великий национально мыслящий писатель усваивается эпохами, так

произойдет, несомненно, и с нашим последним огромного значения русским классиком. А.И. Солженицын, как живой литературный феномен, неодномерен; сама жизнь что-то выправляла и дополняла. И вот он теперь предстал единым слитком, в котором воплощены горечи наши, и радости. И наши упования.

На этих листках, что перед вами, я пытался пережить заново давние беседы с этим необыкновенно талантливым, живым, чутким и благородным человеком. Считаю, что мне в мою бытность весьма повезло – в чем-то обоюдно сопереживать, надеяться и веровать. Изложение ведется сбивчиво, не придерживаясь строгой последовательности, а в такт – как рвется из души. Не обессудьте!..

## Первый звонок весны

Он прозвенел 13 марта 1974 г. и не был для меня неожиданным. Разнузданная советская пропаганда по очернению Александра Солженицына достигла, кажется, всех возможностей, а гнет сверху давил и давил на разные слои общества, расковывая низменные инстинкты, благоприобретенные за столько лет несвободы. Чувствовалось, что подступил час, когда возьмутся за тех, кто был в оперативной разработке органов безопасности. Уже и взялись сразу же после насильственного вывоза писателя за рубеж родной страны. Кто там в разработке числился, можно было представить – это, прежде всего, были личные друзья Александра Исаевича – их было совсем немного, кто удержал с ним связь, и более широкий круг из упрямых почитателей, кого не задавить угрозами и оголтелой ложью: как-то свыклись с брехней, но нависала опасность потерять работу.

В раздумьях такого рода шел я по лесу ближнего Подмосковья, где набирался впечатлений от свидания с природой – они необходимы были для написания очередной «Заметки фенолога» – уголок этот в «Вечёрке» вел постоянно уже ряд лет. Рядом шел Вовка Идиот, по фамилии Волков, легкий на подъем и совершенно полуграмотный: писал по-смешному «жаравль», истошно кашляя и отрешенно озираясь. Раньше мы ходили в дальние леса, разводили костерок на снегу из сухих еловых веток и бересты, ели, что припасено в моем мешке, по стопке выпивали для сугрева. Идиота я не стеснялся, плел всякое, иногда дерзкое по части властей.

А в этот раз ходили вблизи Москвы, и по времени чуть. Вернулся еще засветло. По дороге от метро к дому ко мне подошел какой-то мужчина средних лет и заговорил по-польски. Понял только, что спрашивает, как доехать до гостиницы «Украина». Я показал направление и номер троллейбуса, а вот он и подошел как раз. Незнакомец стал упрашивать меня доехать с ним, а это было недалеко от моего дома. Он так густо пересыпал польскую речь междометиями, что мне показалась его просьба сущим пустяком. Надо заметить, все последнее время сам я стал каким-то бесчувственным ко всему, отрешенным от страха. За собой вины никакой не чувствовал, и честность, помноженная на убежденность, придавали правоте стойкость. Проще сказать: никакой боязни ни в чем остро не чувствовал. В душе даже таилась надежда быть на уровне справедливости. А разве она за ними?

Но вот и гостиница. Поляк приглашает зайти к нему в гости. Зашли в номер. Я, по глупости, расхрабрившись, стал читать в приличном русском переводе сонет Мицкевича «Буря», из Крымского цикла. «Все снасти сорваны, шум волн и блеск из туч…» Постоялец слушал хмуро и молчал. И вот на столе появилась бутылка вина, он принес две рюмки. В одну налил себе, в другую мне. Через минуту поляк кинулся к раковине и блеванул. А я ни с места, слабенькое винцо, что мне будет? А надо было бы сбросить сильнейшую отраву, да ведь наивность и простодушие остановили. И сделалось плохо: почувствовал нарастающую слабость и сонливость. Хотел было прилечь на диване, но поляк настойчиво заговорил по-русски: пойдем, пойдем.

Подхватил меня и вывел на сквер. Дальше ничего не помню, сознание помутилось и сразу же оборвалось. Ни сновидений, ни хоть обрывок какой запомнить – провал полный.

Очнулся не пойму где. Большая комната и с десяток кроватей. Подумалось: вытрезвитель. Но почему же никого нет, ни души. Лежу один и без всего, совершенно в чем мать родила. Стал соображать, в голове очистилось, легко и прозрачно, вроде бы в горное озеро окунулся. Но ноздри забиты сукровицей. Надо шуметь, надо о себе заявить. Вошел какой-то тип, я ему настойчиво о своем требовании, а оно было коротко. Вот сейчас пойду в посольство Польши и заявлю, что под видом поляков агенты расправляются с неугодными. Агент настаивает не делать этого и советует успо-

коиться. На требование принести мое белье откликнулся, и вскоре на одеяло легли трусы и майка. Бросилось в глаза: все чисто и выглажено. И все остальное появилось. Слабость чувствовалась, но я пошел к выходу, там меня под руку взял врач – молодой парень, доброжелательный. Сказал, что выводит подышать свежим воздухом. В коридоре я взглянул в зеркало. На меня уставилось ободранное лицо, все в ссадинах. Врач говорит, что чудом я остался жив, пульс не прощупывался. Понятно стало, отчего сукровица забила ноздри, не сообразили вычистить. Стало быть, когда привезли сюда и стали на полу валтузить, раздевая, у меня началось сильнейшее кровотечение носом. Что со мной делали – сказать трудно. Залитое кровью белье агенты простирнули, высушили и прошлись по нему утюгом. На рубашке и брюках следов также не осталось. Вышел с врачом во двор, взял горсть снегу, умылся. Спросил: где я? Слышу: в Филях. Когда вернулись в помещение, пошел искать начальника. Им оказался полковник Юнусов, мужчина в летах и, видно, умудренный разными проделками «органов». О поляке и упоминать не было смысла. Вежливо пожелал бодрости. Восточный человек.

Выйдя из заведения, я пошел к остановке троллейбуса. В глаза бросилась расклеенная на щите «Вечерка». А внизу листа, как обычно, мой очередной этюд о природе. На этот раз под заглавием «Первый звонок весны». Так вот он как прозвенел для меня? Скорей домой, сказывается слабость в теле. Дома не хотелось перебирать отрывки из того, что было вчера. Как я явлюсь на работу с таким ободранным лицом, нужна правдоподобная версия, чтоб не приставали с вопросами. Ну, конечно же, свалился с крыши сарая, снег скидывал. В марте все это делают, и я не отставал: и с дачного дома, и с сарая сбрасывал захрясшие сугробы. Не удержался на высоте, вот и свалился. Поверили.

Прошло еще два дня, а на третий звонок. Мужской голос приглашает явиться на Кузнецкий, в приемную КГБ. Вы, говорит, недавно ездили в Монголию, так вот нас интересуют некоторые монгольские ваши впечатления. Вопросы есть. Ничего разъяснять самому себе не надо – тягают на допрос. Шел другой стороной Кузнецкого, миновал Дом художника, зоомагазин, поравнялся с вывеской, перешел дорогу и в дверь. Открываю, а там уже тип, видать, в широченное окно наблюдал, как приближаюсь. Поздоро-

вался для вежливости, провел в кабинет. Там наскоро показал он свою ксиву. Успел только прочесть: Гусев Владимир Иванович, скорее всего, написанное в нем подставное. Усадил напротив себя за стол. И сразу в упор: вызвали меня не о монгольской поездке спрашивать, а его интересует только одно – Солженицын. Вначале вывалил грязи всякой, чтоб показать, какой писатель враг и хитрый злоумышленник. И прямой вопрос ко мне: как я отношусь к нему? Ответ я заготовил, на случай, заранее. Сказал, что к Александру Исаевичу отношусь с почтением, что попадалось читать – читал с интересом. Как человек он мне нравится, ничего плохого о нем сказать не могу. Следователя понесло на рязанский период жизни писателя, и о жене его тамошней, и о теще – сплетни всякие. Поскольку эта отдаленность меня не касается, следователь переключился на Чуковских. Тут и «Старуху Изергиль» – это, стало быть, их прозвище Лидии Корнеевны, и Люшу – Елену Цезаревну приплел. Слушал я равнодушно. А на вопрос: зачем я к ним хожу? – ответил просто: Леночка мне нравится, давно ее знаю. Никогда Елену Цезаревну домашним именем Люша не называл, а только ласково – Леночка. А Лидию Корнеевну, человека весьма строгого, сам побаивался и лишь случайно виделся с нею. Когда-то студентом читал ее серьезный труд по редактированию текста. Говорят, что лучшей книги на эту тему нет. Опер осклабился и резко прервал: «Мы, – говорит, – должны бы вас отправить в Лефортово, а пока вызвали на беседу. И знаем о вас все: и как вы уверяли как-то, что у нас руки по локоть в крови (показал), и как вы со всеми нами расправитесь, буде ваша воля: “не тратить пуль, а закрепить к рельсам и пустить поезд”, – понятно: все это доносил Вовка Идиот, с ним я ходил по московским лесам и нес, не зная что.

(Интересная деталь: полтора десятилетия спустя Вовка-Идиот, работяга заводской, со своими дружками с завода декабрьской ночью взломали двери нашей дачи и все, что подвернулось под руку, украли: икону, несколько старинных книг, мою кинокамеру, фотоаппарат, самовар с подносом и много всякой домашней мелочи. Красть, видно, было страстью бывшего детдомовца, такому ничего не стоило стать по совместительству и сексотом. На добро злом отвечал, за что и наказан был Всевышним: вскоре этот тип преставился в мир иной.)

«Всё о вас знаем» – в основном, это бытовуха, а что было у меня внутри, к тем тайникам никогда никого не подпускал, о том и не знали. Упомянул опер даже собаку мою, прозванную за толщину «Самоходным чувалом», полным, увесистым мешком. Главное, думаю, держаться того, что им известно, и не давать повода раскрывать неведомое. «Их не переговоришь, не переубедишь», – примерно, так наставлял Александр Исаевич всех, кто мог попасться на крючок госбезопасности. Взяли с меня подписку о неразглашении допроса на Лубянке, заметив под конец: «Великий конспиратор, Исаевич, обладает особым нюхом находить вот таких, как вы, отбившихся людей».

Вечером зашел к Леночке, спустились с шестого этажа вниз, скрылись в дальнем углу двора. Всё торопливо поведал ей о допросе и о том, отчего мое лицо ссадинами покрыто. Было холодно на мартовском ветру.

Через десять дней опять меня потянули «на беседу». Допрашивали в гостинице «Москва». Оказывается, в каждой гостинице у них своя ловушка. На этот раз все тот же опер разражался бранью, клеймил Александра Исаевича и песочил меня за верность ему. Под конец сунул мне какую-то состряпанную ими самими книжку, кажется, за подписью Решетовской. Всё гадкое старался не читать.

## Ирина Ивановна

Знакомый голос в трубке: Александр Исаевич приглашает зайти к нему, домой. Иду, встречает приветливо, проходим в его кабинет. Усаживает подальше от окна, говорит, из дома, что напротив, подслушивают – уставился окно в окно, двор узкий. Первые числа ноября 1973 г., самая слежка, самый разгар травли, угроз и подстав. Уже многие из знакомых Классика сторонятся его, и сюда редко кто заглядывает; кроме меня, знаю, здесь бывает выдающийся математик Игорь Шафаревич. Но то титулованный академик, и с ним сладить не просто, а я, в общем-то, никто, пыль. Да ведь для Лубянки все, любящие Солженицына, – враги, пылинка и та мешает чекистской зоркости, споткнуться можно. Запомнилось: что когда входил в квартиру Александра Исаевича, в коридоре, кроме писателя, меня встретили Екатерина Фердинандовна, мама Наталии Дмитриевны, юноша лет шестнадцати Митя и седой

мужчина, теперешний муж тещи, его имя забыл. Все внимательны и дружелюбны, здесь никто не мечется, и так умиротворяющее действуют. Озабоченность чувствуется.

Александр Исаевич наедине разъяснил, зачем позвал. Он сказал, что травля, развернутая самыми верхами, может обернуться ему либо убийством его, или тюрьмой либо высылкой. Надо подготовиться ко всему. Родных, говорит, у меня никого нет, кроме Ирины Ивановны Щербак, его тети. Надо ее привезти из Георгиевска в Москву, чтоб собраться всей семьей. Александр Исаевич взял со стола два конверта; из того, что был открытый, вынул заготовленное к моему приходу письмо. Он дал мне его прочесть. В нем писатель с теплыми словами обращается к тете, чтоб она немедленно ехала в Москву, здесь он ждет ее. На четырех страничках письма есть и благодарности тете Ирине, и о ее стойкости в годы лишений сказано, и о том, что теперь она преклонных лет и к тому же слепая, и чем дальше, тем будет хуже ей без помощи и в решительном одиночестве. Собирайся и езжай с Александром Ивановичем – так Классик называл меня с некоторых пор. Точно таким же именем надо было и мне его именовать, если говорю по телефону при людях. Скажи «Александр Исаевич» при всех – сразу поймут, с кем общаешься, другого такого Исаевича нет и нет. Дочитав письмо, полюбовался и почерком писателя: буквы – чистый жемчужок, написаны некрупно, но твердо, четко и без помарок. Во всем характер и выдержка чувствуется. Второе письмо в запечатанном конверте, о чем оно, не знаю. Отдать в Минеральных Водах кому помечено. Ежели застанет ночь и приткнуться негде будет – эти же люди помогут. Александр Исаевич протянул 200 рублей – на дорогу с Ириной Ивановной и на снедь ей к столу. Если откажется ехать, надо тете оставить столько-то денег, рублей 35, если оставишь больше – раздаст; ходят к ней просить разные соседи, какой-то спившийся старый чекист клянчит. Что везти к столу, перечислил: поляницу, немного дорогой рыбы – осетрину, конфеты. Попрощались по-братски, и, обрадованный доверием Классика, прямо от него помчался на Курский вокзал за билетом. Вообще-то мне эти его расходы хотелось взять на себя, для меня они не были бы обременительными, но Александр Исаевич сказал: «Вы едете за моей тетей – и все прогонные от меня».

И вот я в вагоне. Место в купе – нижняя полка. Примостился, приготовился читать – с собой прихватил второй том Полного Достоевского, только что издан. На столик положил карманный атлас железных дорог: снабдил Александр Исаевич. Говорил, будешь проезжать станции, что-то полезно запомнить. В конце атласа, на последней странице, перед переплетом, записан номер домашнего телефона Классика – «Когда прибудете в Москву – звони, будем встречать». Осмотрелся, кто еще в купе: напротив внизу молодой военный, в форме, он молчал, старался и я быть равнодушным ко всему. На верхних полках какие-то девицы-тихони, они не визжали, что уже хорошо. С военным поздоровались, разговора не было. Уткнувшись в Достоевского, так молча просидел дотемна. Включили лампочку, и немного спустя стали разбирать постели, готовясь ко сну. Мой сосед, раздеваясь, сунул пистолет под себя, в кармане, что ль, у него он был? Лег я набок лицом к стенке, чтоб не видеть ничего, заснул. Потом занялся день, безмолвное чтение, разглядывание станционных вывесок. По атласу сверял, прикидывая, как далеко до Георгиевска. Разговоров ни с кем не вел, да и о чем? В голове возникали образы Достоевского, какие-то подробности из жизни его самого.

В Георгиевск прибыли ночью. Сосед в форме растворился. Кругом темь, пришлось усесться на вокзальной скамье, и даже пробовал прилечь. Но не лежалось, не сиделось, хотелось взглянуть на жилье Ирины Ивановны, тети Солженицына. Как чуть засерелось и рассвет проступил, сидеть было уже невмочь. Достал свою записную книжку, где на чистой странице рукой Александра Исаевича изображен план улицы и помечен дом, где ютилась Щербак. Это оказалось невдалеке от вокзала. В такую рань хотелось просто пройтись той улицей и взглянуть на жилище. Но не тут-то было, Ирина Ивановна уже была на ногах и не то бранилась с кошками, не то журила их. Подошел вплотную к тесному палисаднику, поздоровался. Произнес негромко: «Я от Сани, зовут меня Александр Иванович». Старица оживилась и вроде бы хотела всплеснуть руками, но воздержалась и стала возмущаться «голоногими» особами – без числа подкидывают ей к двери котят и кошек. А сердце у нее не каменное, последнее отдаст страждущим созданиям. Только вот люди вокруг лучше не делаются.

Позвала внутрь своей конуры – о ней уже был наслышан. Присели к столу, прикинул, как же она тут живет? Но ведь живет! Развернул письмо, написанное к ней ее Саней, велела читать: сама не видит букв. С первых же строк что-то громыхнуло у двери. Оказывается, приперлась старуха, с баулом, и после двух-трех слов плюхнулась рядом. Ирина Ивановна говорит, что это ее знакомая. Но зачем она так рано и с таким баулом? Прерывать чтение не стал, все как было дочитал до конца. На вопросы тети отвечал как знал. Спрашивала об Андрее Сахарове, о семье и детях. Вскоре старуха ушла, а я сказал, что скоренько схожу в гастроном и вернусь. Так и сделал. В гастрономе купил все перечисленное – и поляницу, и осетрину, и к чаю, припас кошкам – о них особое попечение.

После возвращения с покупками разговор наш продолжился. Ирину Ивановну повело на воспоминания из далекого прошлого, вспомнила и об Исае Солженицыне, его трагической кончине, и о Романе Щербаке, своем муже, и о его сестре, Таисии Захаровне, матери писателя, и о том, как во время последней войны, кажется, в 1942 г., пригрела ее, умирающую без приюта, и как усопшую перевезла на ослике на кладбище в Георгиевске (теперь, говорит, тут вместо кладбища играют в футбол). И как рос Саня, заменяя ей сына, – своих детей у нее не было, как кормила его грушами – хранила их в ящике под кроватью. Любила и любит своего племянника, страдает за него. Вот только зачем он с иудейками связался? И Решетовская, и новая жена – иудейки. Пустился я объяснять ей, что это она с чужих слов напраслину говорит. Наталия Дмитриевна из Терских казачек, ее предки служили на Терской Линии – так мне пояснял Александр Исаевич, зная болезненность тети. Да, и первая жена была русской. Кажется, убедил. Но не унималась бывшая-пребывшая госпожа – волнуется. Потом перешла на Рязань, куда ездила к племяннику в гости. Говорит, встречали неласково, когда ехали в автобусе по городу – они стояли от нее поодаль – стесняясь людей, разглядывающих заплаты на старухе. Если так это было, то, думается, Решетовская тому виной – к внешнему блеску тянулась, она ведь и в Переделкине появлялась в театральном блеске (со слов Елены Цезаревны), а сам-то Александр Исаевич – мудрый и внимательный. Ирина Ивановна о своем Сане говорила и тепло, и с какой-то внутренней радостью. И воз-

мущалась враньем, вся газетная брехня сюда докатывается в пересказе. Семь часов подряд был я в конурке И.И. Щербак, и как ни уговаривал ее ехать в Москву – отказалась. Попросил ее снабдить меня запиской об отказе ехать. Ирина Ивановна писать отказалась, а вот, говорит, возьми листок с подоконника – я буду говорить, а вы записывайте. Взял листок в клетку с подоконника и все, что диктовала мне тетушка Классика, записал точь-в-точь. Оставил ей письмо и денег, сколько предусматривалось, расцеловались на прощанье, надеясь еще свидеться, если позовет. Проводила до колышков крохотного палисадника.

И я пошел к вокзалу. Но не в Москву надо стремиться, а в Минеральные Воды, чтобы передать другое письмо. Адрес указан: Минеральные Воды, Розы Люксембург, д. 3, Михеев Александр Александрович. По приезде пустился в аэропорт, за билетом на самолет и узнать, сколько у меня свободного времени. Когда узнал, что до ближайшего отлета времени много, пошел искать Михеева. Остановился против д. 3 на той самой улице, стал вглядываться в окно. И вот показался мужчина старше средних лет, посмотрел на меня, я на него, слегка кивнул головой. Тут же отворилась дверь, и хозяин добродушно провел в сени (домик отдельный). Надо было только сказать: я от Сани – и все понятно. Михеев мне шепнул еще в коридоре, что он сразу догадался, от кого гость, – ждали и волновались – ведь что вокруг него делается, прямо-таки страшно. Письмо от Александра Исаевича передал, когда усадили за стол. Что было написано, так и не узнал, при мне читать не стали, да это и ни к чему. Радушию самого Михеева и его жены Марии Семёновны, кажется, не было конца. Кормили меня и наваристыми щами, и блинами со сливками, и компотом. Как откажешься, когда угощают от души? Переживают, что Александру Исаевичу, должно быть, тяжело от таких нападок. Старался приободрить, как умел: не убьют, угрозами обойдется. На прощанье просили кланяться ему и передать вот этот гостинец – мешочек с сухофруктами; в полосатом мешочке, набитом под завязку, было килограммов пять южного гостинца.

К самолету подоспел вовремя. На случай, если б задержался, Александр Исаевич мне начертил на четвертушке листа подробный план Минеральных Вод, пометил и станцию, и столовую, и гостиницу, и площадь, и зачем-то Линейную улицу. Здесь же

расписание поездов и автобусов от Пятигорска до Георгиевска. Как заботливо все предусмотрено!

В Москве позвонил сразу же по приезде. Писатель велел идти к нему. Опять вижу его домашних: какие милые, озабоченные лица. Гостинец в прихожей кладу и вместе с Александром Исаевичем прохожу в его кабинет. Сидим не за столом, а как бы наскоро на стульях. Рассказываю хоть и сбивчиво, но по порядку. Записку от Ирины Ивановны передал поначалу, а в конце беседы положил билеты туда и обратно и остаток денег. Конечно, о моей поездке в Георгиевск органам было известно все – на допросе потом это и не упоминалось. Главное, излишне не скрытничать, не юлить, а держаться открыто и прямо – ведь ничего худого не делал, а дружить, по совести, не запретишь.

## И снова Ирина Ивановна

После насильственного «выдворения» Александра Исаевича за пределы Родины в феврале 1974 г. власти продолжали поддерживать к нему предельно высокий градус озлобления в обществе. Прослушка и слежка за узким кругом его знакомых продолжались, говорить приходилось с оглядкой. Но и в открытую что-то делать было разумнее, чем темнить и скрытничать. Тем более умысла особого ни у кого не было. Но ведь как бесы перед заутреней ужесточаются, пугая засильем, так и подручные временщиков, включая штатных растлителей печатного слова, всю эту окололитературную шпану; журналистов, похоже, опустошила высылка державного светоча, и чад удушающий начал редеть.

Из Георгиевска поступило известие: Ирина Ивановна просит срочно подыскать ей жилье, и вправду: мыслимо ли особе слепой, престарелой оставаться одной в каморке? Собрались мы с Еленой Цезаревной ехать и на месте постараться что-то устроить. 18 августа 1974 г. мы уже в Георгиевске. Когда вошли к тетушке, она вроде бы обрадовалась и даже разговорилась. Меня узнала по голосу и помнит наше свидание. «Елена Чуковская», – отрекомендовал гостью. Елену Цезаревну усадила рядом на кровать, ощупала ладонями ее лицо и дружелюбно промолчала. Пока то да се, пришла какая-то баптистка, говорит, что она и ее единоверцы наведываются сюда и чем-то помогают. Баптистка шустрая, разго-

ворчивая. Решили идти вместе покупать дом, адреса известны. Цены здесь заламывают немалые, а у нас 12 тыс., вроде бы сумма приличная. Была возможность увеличить ее, но от этого пришлось отказаться. В первый год изгнания Александр Исаевич прислал из Цюриха 10 тыс. франков на пополнение вспоможения Ирине Ивановне. Деньги присланы в Москву на имя Елены Цезаревны, но она опасалась их получать. При встрече как бы посетовала – брать или не брать? Мое мнение однозначно – не брать. Всем памятно «дело» Ольги Ивинской, получившей что-то от Нобелевской премии Б.Л. Пастернака. В результате – измывательства и длительный срок тюремного заключения. Стало быть, получать ни в коем случае нельзя, присланное вернуть обратно. Конечно, Елена Цезаревна все это лучше меня знала, а поделилась со мною как бы сомнениями, чтобы утвердиться в решимости – ничего не брать!

Осмотрели мы дом, еще по городу походили. И в дождь с грозой возвратились восвояси. Леночка по лужам шла босиком, и мне было радостно видеть ее ловкой и решительной.

Пришли к Ирине Ивановне, доложили, как да что, и о продающемся доме подробности. Может быть, все это с подачи баптистки, с которой мы хотели расстаться на улице, но она уговорила нас взглянуть на ее обитель. Отворила дверь, и с порога мы увидели молельню: кружком сидят какие-то люди, баянист наигрывает мотив известной песни, голоса в лад выводят самодельные псалмы. Из духоты вырвались на волю – и легче стало.

Ирина Ивановна все расспрашивала нас о своем Сане. Поведали кратко, затем я попросил показать нам письмо Александра Исаевича, что привез тогда. Ирина Ивановна достала из-под матраца большую пачку его писем и велела пересчитать. Рассматривая, я взял то самое, заветное для меня, письмо и подложил к нему еще три, более ранних, с обширным текстом, остальные положил отдельно, чтобы посчитать. В основном, это были открытки, их было много, 31. Завернул в тряпицу, в чем они и хранились, передал Ирине Ивановне. А те письма, что отложил, попросил разрешения Ирины Ивановны взять с собой в Москву – должны уцелеть. Может быть, и все бы письма отдала Ирина Ивановна, но язык не поворачивался просить: как же ей совсем оставаться без теплых слов? Читать уже не могла, но хоть потрогает, развернув тряпицу. Увезти Ирину Ивановну в Москву все также было нельзя –

отказывалась, да и к кому теперь? Надежда на выезд за границу потеряна – власти злобствуют и все делают поперек тому, что могло бы утешить «врага народа».

Через некоторое время из Георгиевска сообщили: срочно заберите И.И.! Поехал за нею Вадим Борисов, верный долгу совести, преданный почитатель и знакомый Великого писателя. Интересно, что никаких писем Александра Исаевича у тети Ирины он не нашел, местная госбезопасность все выскребла. А те, что были у меня, – сохранились. Когда наш Классик триумфально вернулся домой, при первой же встрече я положил перед ним эти спасенные нами письма. «Аля, погляди, уцелели!» – Александр Исаевич показал на свои листки, разложенные на столике. Это ли не памятно!.. А с Ириной Ивановной далее произошло следующее. Когда Вадим Борисов привез ее в Москву и поселил у себя в тесной городской квартире при трех детях и жене, поначалу все как бы обустроилось. Но выезд тети к племяннику за границу органы защемили, и видов на разрешение никаких не было: как хочешь живи с ней. А Ирина Ивановна вдруг стала деспотичной, в ней проснулась прежняя барыня, когда она с богатейшим своим мужем Романом Щербаком каталась на собственном роллс-ройсе и повелевала; а то, что потом, целое полстолетие, бедствовала, устроившись техничкой, забылось. Требовала всего, да так настойчиво, что Вадиму Михайловичу ничего не оставалось, как устроить Ирину Ивановну Щербак в дом для престарелых, где она вскоре и скончалась. Так расправлялась жизнь с людьми редкостными. Позже, уже в перестроечные годы, Вадим Борисов стал на виду, его пригласили на престижную должность в журнал «Новый мир», а главное, он получил доверенность от Александра Исаевича вести издания Солженицына в России. И начали печататься долгожданные книги в Москве, их покупали нарасхват, мир писателя открылся перед людьми, да такой насыщенный размышлениями, многоцветный и живой, что остальная современная русская литература отодвинулась, а многое просто канализировалось. Но самому писателю «борисовские издания» были не по душе – ширпотребовский их вид умалял читателей, снижал градус восторга. Появились, правда, и подлинные типографские удачи. Так, вышел в замечательном оформлении «Архипелаг» в трех томах. К сожалению, Вадиму Михайловичу Борисову не привелось дожить до возвращения

А.И. Солженицына в Москву: он утонул на Балтийском взморье. Мне памятны дружеские встречи с ним и в журнале, и мимоходом – душевный был человек.

## Слежка

Когда ее установили за мною, можно только догадываться. Вначале велась тайно, а потом с размахом и просчетами с их стороны. Замечать стал, что-то домашний телефон ерундит: при моем звонке возникали помехи. Не хотелось верить, что это – прослушка. Но вот раз, это уже было году в 1972-м, ко мне на работу, в редакцию аграрного журнала, где я ведал отделом науки, и как-то в разгар дружеской вечеринки бесцеремонно вкатился к нам «метр с кепкой», низкорослый телефонщик. Он что-то начал копаться в моем аппарате, что стоял на моем столе. Пока он занимался небольшой разборкой и сборкой, мне пришло на мысль угостить телефонщика. Я взял емкий, маленковский стакан и наполнил его доверху водкой – тогда ведь на таких сборищах в конце рабочего дня общались только подвыпивши: времена застойные, застольные. Когда телефонщик закрыл крышку аппарата, я предложил ему угощение, стакан этот, наполненный доверху, и закуску – на столе ее было немало. «Метр с кепкой» оживился и вроде бы даже обрадовался. Стакан мигом опрокинул, крякнул от удовольствия и легонько поддел на вилку кусок селедки. Угощеньице со стола ему пришлось по нутру, он подобрел и, наклонившись к моему уху, прошептал: «Как мне надоело тебе жучка ставить». Взглянул на телефон и ушел. Тут-то я, простодушный, понял недвусмысленно – прослушку отладили. Шум и гам в редакции продолжался.

А у Чуковских и того хлеще. «Бобик», сотрудник пятого отдела КГБ, под началом генерала Филиппа Бобкова, ударил Елену Цезаревну при входе в ее подъезд. В посылке с канцелярскими принадлежностями, присланной Лидии Корнеевне из Англии, бобики на почте обрезали кисточки фломастеров, и писать ими было нельзя. Пределов наглости нет: там хорошо знали, что Лидия Корнеевна из-за совсем слабого зрения может четко писать только фломастером, а его в Москве не сыскать. Подличали напропалую. Подспудно оперы занимались сбором компромата на всех, кто попал в поле их зрения. Ходили, крадучись, и подглядывали, про-

слушивали, и через своих людишек копили компромат. Подключили и каналы, для них легко открываемые, – просматривали личные дела в отделе кадров. В нашем издательстве побывал кто-то из их конторы – я это почувствовал, когда столкнулся с нашей кадровичкой, всегда дружелюбной и внимательной, а тут нескрываемо настороженной, с загадочной ухмылкой. Стало быть, совали ей свое удостоверение, изучали мое дело. А тут еще ни с того, ни с сего приперся на квартиру ко мне директор издательства Лёня Кобыляков, и с ним ищейка и его закадычный друг Виталий Замота. Первый – толстый, а второй истощенный и плоский. Попеняли жене, что вот какой я нехороший – высказывался одобрительно вслух о произведениях Солженицына; все клянут его, а сотрудник нашего аграрного журнала поддерживает. С тем и ушли.

Предстояло заняться подысканием дачи для Александра Исаевича. Ведь ни у Чуковских, ни у Ростроповича он уже остаться не мог. Кольцом обложила Госбезопасность, сжимала его, подстраивая провокации. А у Классика уже семья своя, пошли дети. На словах Александр Исаевич пояснил, что подошло бы ему для дачного жилья и где именно. Непременные условия – чтоб недалеко от храма была река, и чтоб раздольный луг был – хочет на коне поездить. Первое мне было понятно – храм для души, река – тоже понятно, а верховая езда показалась избыточной мечтой. А потом подумалось: почему бы и не помечтать? Когда прикинул, где такое сочетание могло быть, оказалось, что все это было рядом со мною, в Черкизове, что на берегу Клязьмы (Пушкинский район). С него и начал искать подходящее скромное поместье, дачу. Черкизово – место памятное для писателя. Здесь, в Покровском храме, он передал на Запад «Архипелаг». Как бесы с Лубянки ни следили за ним, а в храме и бесы скололись: Александр Исаевич, само собою, в храме стоял без шапки, и точно такая же шапка была при нем, а в нее был зашит микрофильм рукописи. Во время службы он ту шапку незаметно сунул нужному соседу, плотно прижатому молящимися. На паперти после службы надвинул на голову шапку, в которой пришел, и злодеи хитрость не распознали («Бодался теленок с дубом»). Возможно, Александр Исаевич оглядывал и нашу Клязьму, и луг за нею.

Обошел я все Черкизово, подыскивая подходящий дом, выставленный на продажу. Ходил и день, и два, ничего не попа-

лось. Цена предполагалась высокая для этих мест, но вся беда, что люди поселка ютятся кучно и в жалких домишках. Как в 30-е годы возникла «Воронья слободка», когда сюда распихивали переселенцев с затопленных мест, – возникали водохранилища, да и канал Москва – Волга добавлял люду. Так с тех пор и жили в наскоро сколоченных хибарках. Одну из них, даже чуть получше видом, можно было бы и купить по сходной цене, но Александр Исаевич ее забраковал. Мы договорились с ним, что я буду ездить искать и вечером докладывать ему заклеенной запиской (кладу в письменный ящик). Ежели предложение подходящее, он едет и сам осматривает. Постепенно по Ярославке дошел до Хотьково. Ничего утешительного. Другой радиус ж. д., Киевский, он был близок к Александру Исаевичу. За Наро-Фоминском у него когда-то был домишко, непригодный для семьи, нужно подыскать в тех же местах более надежный. Опять еду на поиск, а что нахожу по расспросам – пишу об этом в записке. За Наро-Фоминском еще были живые хвойные леса, с огромными муравейниками, таких в заплошавших лесах не встретишь. Воздух смолистый, пользительный – самый бы раз здесь жить. Но вот беда: на продажу ничто не выставляется. А так хотелось помочь великому человеку. Вскоре вопрос о даче отпал сам собой. От той поры (апрель 1972) у меня сохранилась записочка Александра Исаевича. Вот она:

*«Дорогой Александр Николаевич! За карту Тамбова – большое спасибо! Нужна ли губерния – выяснится на днях, а главное – насколько подробно? Дача продолжает искаться. Сердечно жму руку!*

*А. Солженицын».*

Тогда же, в 1971 г. Александр Исаевич написали другое письмо, подлиннее. Приведу его полностью.

*«Уважаемый Александр Николаевич!*

*Спасибо за календарь. По радио мне понравились чтения из него. Очень ценное приложение. Эпиграфы к главам – не органичные (в одном ряду Державин, Надсон и Багрицкий – ухо режет). Использование народного материала, мне кажется, у Вас хорошее, местами отличное.*

*Пользуясь Вашим любезным предложением, заказываю Вам требуемые погоды. Где указаны периоды, то не надо по дням, а – общая характеристика по несколько дней (дождливо, холодно, пасмурно, оттепель, морозы, метели и т.д.), а главные даты выделяю красным, где желательна предельная точность.*

*Этот список я мог бы и продолжить, но и сего не мало.*

*Стиль – старый.*

*1916 г. 15.10–5.11 – Зап. Белоруссия (близ Барановичей), Москва, Петроград.*

*Конец октября – Кубань (под Армавиром); первые числа ноября – Тамбов.*

*1917 г. 23.2–5.3 – Петроград (ежедневно).*

*6.3–18.3 – - – // – - – (в общем).*

*27.2–18.3 – Москва, Ростов н/Д., Тамбов.*

*1917 г. 13.4–7.5 – Петроград, Москва, Зап. Белоруссия (между Минском и Барановичами).*

*21.4–23.4 – Петроград (ежедневно).*

*Благодарю. Жму руку.*

*А. Солженицын*

*Еще отдельная благодарность за Ваш сборничек слов с. Щадей, очень интересно, сочно, мне как раз тамбовские слова оказались нужны».*

Поясню подробностями некоторые места этого письма. Календарь, о котором упоминает Александр Исаевич, – это «Календарь русской природы», который я вел в журнале «Наука и жизнь» в 1968–1969 гг., затем он вышел в виде книги – ее-то я и поднес писателю. А чтения на радио велись из месяца в месяц весь 1971 г.: текст читал Юрий Яковлев, вахтанговец, а музыкальные номера исполнял оркестр Дома записи, на Качалова, угол Вспольного переулка. Но главное – голоса, весь русский год, все 12 передач сопровождали лучшие голоса Русского народного хора – пели Мордасова и Кладнина из Воронежа, Шура Стрельченко из Москвы и другие таланты. И эти золотые голоса России, да еще на фоне породистого, бархатного голоса Яковлева, – впечатляли. Бывало, что и до слез доводили. Оживало погребенное под советской шелухой истинное лицо народа. Просиял лик России, повеяло род-

ным. Но все это кому-то за нож вострый. Вскоре в «Литгазете» появилась статья-донос, написанная Александром Яковлевым, хромым бесом, погромщиком перестроечных лет, номенклатурным русофобом. Передач таких не стало, а редакцию «Русской музыки» закрыли.

Необходимые Александру Исаевичу погоды по возможности разыскивал и сообщал. Как обстояло с погодой в Москве и Петрограде в указанные числа, найти удавалось, а скажем, что было в Барановичах или в Армавире, вызывало затруднение – метеорологических летописей и даже фенологических наблюдений за эти сроки не было.

Тогда же, в 1971 г., я получил из рук Елены Цезаревны только что вышедший из печати в Париже большой том новой прозы А.И. Солженицына «Август Четырнадцатого». Когда стал читать, убедился – экземпляр уникальный: автор внес множество поправок от руки – их в общей сложности было 170 на 600 страницах текста. Чтение «Августа» мне доставляло огромное удовлетворение и пользу – ничего подобного до той поры не читал. Решил всю авторскую правку переписать. И так страницу за страницей прощупывал глазами, опечатки и поправки вносил в отдельную ведомость – там были указаны номера страниц и строк, что напечатано и что должно быть. Кто знает, как дело повернется, а эту авторскую правку надо для истории сохранить. Книгу вернул Елене Цезаревне, на прощание потянулся к ее руке, а когда она протянула ее – поцеловал в ладонь, покрытую язвами. Дело в том, что от бесконечных неприятностей, чинимых органами, у Леночки проявилась аллергия. Милая женщина явно страдала, но держалась, как и во всем, мужественно. Сказал утешительные два-три слова и ушел, унося с собою рукопись «Ракового корпуса», перепечатанного с автографа самой Еленой Цезаревной. И это чтение воспринималось мною всем существом. Даже партитура рукописи – ударения, укрупнявшие отдельные слова; тире, усиливающие ход мысли, сжатая строфика и подчиненные эмоциональному строю образы и внешне создавали особый авторский рисунок. Солженицын – стилист и великий мастер художественной прозы, новатор нового уровня отечественной словесности – все это надо было самому прочувствовать и оценить новый вклад в современный литературный процесс.

## «Кубыть»

Что за слово такое – «кубыть»? А ведь оно обретается в наших тамбовских местах и всем понятно. Мужик-простота сторонился «правильной» речи, скругляя выражения подобно капле, стягивающейся к наименьшему объему. «Кубыть» – это «как будто», сказанное впопыхах, – черносошенному сеятелю не до полнозвучия. Вот и появились в говорах: мобуть – может быть, прасук – поросенок. На моей сторонке таких слов по селам было преизобильно, и стар и мал там понимали один другого, не считая свойские выражения за косноязычие. Короб народных говоров был так обширен, полнозвучен и так красочен, что тамбовские речения заняли значительную часть общенационального языкового богатства. Внешние сдвиги и потрясения, хула на все родное, подмена подлинных целей жизни подложными впрямую задевали даже глубинные крестьянские толщи, но живой запас слов отменить злодеи не сумели. Вот почему позднее поколение, уроженцы 30-х годов, еще застали стародавнюю русскую речь, так непременную в обиходе натурального хозяйства. Пятнадцать начальных лет я был погружен в эту языковую стихию и уже в Москву привез многое из детства. А когда стал писать о жизни нашей природы, часто, бывая в лесу и на просторах, возьму да запишу, что подвернется на память. Постепенно запас говоров родной сторонки рос, подсчитал – около 400 слов. Само собою, давались к ним и толкования.

Вот этот тамбовский говорок в своих записях я и осмелился подарить Александру Исаевичу ко дню его рождения. Чем же можно обрадовать такого чуткого писателя, как Солженицын, как не словами, подобранными в народе? Оказалось, что эти записи пришлись ему в пору и по душе: трудился над очередным томом свое эпопеи – там уже с «Августа Четырнадцатого» важный персонаж (Благодарёв) – из Тамбовской земли. Строчка из записочки А.И. Солженицына: «Еще отдельная благодарность за Ваш сборничек слов с. Щадей, очень интересно, сочно, мне как раз тамбовские слова и оказались нужны». Вот так – нужны, и я радовался пусть маленьким приношением для пользы. Недоумевал только, зачем Александр Исаевич изменил название моего села Тарадей на Щадей. Да, у нас никакой тары не делали и слово «тара» никогда

не было в ходу. А название – дославянское, и в языке мещеры, близком племени чудскому, звучало как «таралей» – речка в кустах. В современной огласовке – извращено по форме и смыслу, и только этимология подскажет о первородстве того и другого. Заметим, что на Тамбовщине, как, впрочем, и в других соседних губерниях, исконная топонимика рек, урочищ и старожильческих мест связана с племенами, некогда жившими здесь и давно исчезнувшими. А язык сохранился, и «Щадей» тут ни при чем. Щи и доныне умеют варить, а с «тарой» не знаются – есть во что ссыпать или класть. Но прав Александр Исаевич, когда заподозрил в теперешнем названии моего села что-то не от народа, оно так бы и понимать, если с древностью не свериться. Да и формальное написание менялось со временем: в XVIII в., к примеру, писали Торадей. А изуродованное Тара-дей смахивает на санскрит.

Уездный город наш Шацк ставлен Иоанном Грозным как крепость против Дикой степи и охранял с другими такими крепостями Москву от набегов крымчаков. Опора боевых дружин – стрельцы-храбрецы, они-то и обороняли город, окруженный рвами и высоким дубовым тыном в два ряда. Отсюда на Тулу тянулись непроходимые засеки: кондовый лес валили вершинами в сторону врага. Для своих делались сторожи и секреты. В эпоху царя Михаила Фёдоровича, в первую треть XVII в., таких крепостей по южной границе Московского Царства насчитывалось 25 и оборонный щит прикрывал русские просторы от Шацка до Симбирска. Воинское сословие – стрельцы – в затишье пахали, сеяли, разводили скот. Все села вокруг Шацка тем и жили. Отлаженный строй поколебался с окаянства Петра I: стрельцов свои же порубили, семьи верных ратников Правительницы Софьи свели в податное, крепостное сословие, а на место стрельцов в охране границ заступило казачество. Ряд сел нашего уезда и по сию пору называются казачьими слободами. В последующие царствования тамбовские пустопорожние земли раздавались вотчинникам. Нетронутые степи преизбыточествовали дикой живностью: дрофами-дудаками, стрепетами, а по окладинам-болотам, среди заматерелой закраины, ватажились журавли, булькали цапли и тучами носились утки и пигалицы-чибисы. Полная чаша жизни виделась и по суходолам – там была пропасть красного зверя – волков, лисиц, зайцев, а в норах прятались барсуки, байбаки-сурки, земляные зайцы – тушкан-

чики. На пролетах пажити оглашались полчищами диких гусей. Вотчинники поначалу неохотно осваивали тамбовские земли, не хватало крепостных рук. Потом сообразили свозить сюда семьи из поволжских вотчин – и дело пошло. Но то уже было в женские царствования.

Наше село Тарадей принадлежало Кириллу Разумовскому, а с успения царицы Елизаветы Петровны перешло в вотчинное владение дворян Ланских. В нашем селе Тарадей родился Василий Сергеевич Ланской (1754–1831), Тамбовский губернатор (1795–1803), сенатор, президент временного правления в Царстве Польском, с 1815 г. его наместник. Ланские долго владели нашим селом, вплоть до отмены крепостного права. Тогда дочь Наталии Николаевны Пушкиной от второго брака – Александра Петровна Ланская, в замужестве Арапова, – осела в Шацке и жила там до начала 1918 г., до большевицкого погрома, когда всех, кто не исчез вовремя, – законопатили, и о них ни слуху ни духу. Александра Петровна незаметно уехала к своей сводной сестре, Марии Александровне Гартунг, родной дочери Пушкина, в Петроград, и там в 1921 г. обе погибли от голода. После Ланских помещиком стал малохольный Терентьев, управляющий, бесцветная ничтожность, о его недалекости пояснит такой факт. В 1914 г., когда вскипала народная волна помощи солдатам на передовой, в Шацке создали Дамский комитет во главе с княгиней Елизаветой Волконской. Сам князь, Владимир Петрович, правая рука Царя, приближенный ко Двору после Саровских торжеств 1903 г., с головой ушел в патриотическую работу, и Комитет сам по себе успешно повел сборы. Шацкие дворяне делали щедрые взносы. Скажем, та же Александра Петровна Арапова внесла от себя 104 ценных предмета, об этом писала уездная газета «Шацкий Листок». А вот Терентьев внес для победы… третий том сочинений Брэма. В 1918 г. вышвырнутый прочь из имения в чем попало, он прятался по оврагам и кустам, а ночью побирался у знакомых крестьян на Планте – улица у нас такая на горе. Вскоре совсем сгас.

Составленный мною список говоров родного села Тарадей содержал, как упоминал, приблизительно 400 слов и кратких толкований к ним. Была приложена и старинная ландкарта Тамбовской губернии. За все Александр Исаевич выразил *«теплые благодарности»*. В списке слов отмечены мои упущения: *«ударений*

*нет, написание по слуховой догадке (хреп/б-тук), усеки, надысь, – как-то впутан современный жаргон, хороша бы запись во фразе».* Вот последнее из пожеланий меня-то и всколыхнуло. Как составить такие фразы, должны ли они перетекать одна в другую, или подавать их отдельными примерами? Мне показалось, что лучше сладить непрерывный текст, в котором, как блестки, будут светиться самобытные слова. Изложение произвольное, но без придумок, а выхвачено из жизни, мне известной в оригинале. Время действия – первый год войны, а мне семь лет. Память как воск – любой нажим оставляет вмятину. Уселся я писать без всяких заготовок, без какого-либо событийного перечня. Получалась записка для одного человека, но зато какого! Александр Исаевич согревал мою душу своим творчеством, одним своим присутствием и теплым вниманием ко мне, неприметному и неяркому словеснику, – трудился в аграрном журнале. Но совесть велела держаться убеждений прямых, неложных, а всем наносным брезговать, от всего чуждого отказываться. Записку создавал с маху. Благо дни отпускные, не подневольные. Напишу от руки – перо еле успевает оставлять строки, одну за другой. В конце дня сажусь за машинку, печатаю нешибко, двумя пальцами, – десятью так и не научился. За один присест, гляжу, восемь страниц получилось. За две недели создалась целая глава. Ее название «Калач приестся, а хлеб никогда». Сельская жизнь как есть, физиология быта без прикрас, если натурализм, то подлинный, как слышал, без оглядки на условность, и чтоб все горести и радости, как они были, сохранив аромат подлинника. Разумеется, меня повергало в недоумение, как быть с именами и прозвищами еще живых людей. Давал, почти не изменяя, так мне было легче припомнить поведение, характеры и быт селяков. Из вулкана действительности как бы выхвачен кусок магмы – жжется и светится. Слова не окаменевают эхом, а раздаются как вздох и произносятся навзрыд. Вообще рыдание, плач и боль крестьян трогали меня, и все это хлынуло из души на страницы. Раскованность позиции, доверительный тон и совершенная преданность правде жизни помогли мне лучше понять сказовый лад народной речи, ввести в прозу самородные крупицы красноречья сеятеля и россыпи из обширного кошеля говоров, носимых самим сеятелем. Народная мысль и речь в устах крестьян бесписьменных, простодушных, была мне ближе и понятнее слов казенных,

навязших в принудиловке контор и училищ, – заходили ведь в избу и такие, кто прислуживал и выделялся. А у нас ничего из принудиловки нет, кроме нужды во всем, казенного измывательства и страха – фронт приближался.

Отпечатал главу, понес Елене Цезаревне, чтоб передала Александру Исаевичу. Через два-три дня говорит Е. Ц.: «Запиской доволен наш Классик, а язык ваш привел его в восторг». Лучшего поощрения для меня не могло быть. Сама она тоже прочла эту главу и, кажется, ближе мне стала. Так определились два светоча: Александр Исаевич и Елена Цезаревна, Солженицын и Чуковская. Вторую главу «Земное верстание» написал лишь на другой год, в отпускное время. И тоже в две недели, 65 машинописных страниц. Но передать Классику в Москве не смог, в конце 1973 г. был занят спешным заданием, и эту часть Записки посылали уже в Вермонт, куда переезжали остальные Солженицыны. Письма, записки и нечто другое после допроса пришлось прятать подальше, этим «подальше» был амбар в поселке. Распихал бумаги в разных углах, уже не заботясь ни о чем, считая, что задание выполнено. Но шли годы, десятилетия. Атмосфера разряжалась, уже в Клубе медика состоялся вечер, посвященный Солженицыну, и за столом перед публикой сидели Лидия Корнеевна и ее дочь Елена. Чувствовалось, что люди стосковались по Классику, и враги прикусили язык. Вспомнилась мне и та самая записка, что писалась для него одного. Полез в амбар нашарить припрятанное. И каково же было недоумение, когда от полутора сотен страниц остались огрызки: вострые мыши съели пожелтевшую бумагу. Востроглазые серенькие мои читатели хорошенько справились зубками, а из вороха остатков свили гнездо. Горевал, конечно, потом припомнил, что куда-то запихнул еще и оригинал, помаранный. Отыскался, стал перечитывать и слегка поправил. Главы поменял местами, дал общий заголовок: «Из малых лет» – из детства. Получилась как бы повесть о недавнем времени, проведенном в самой гуще крестьянской жизни. В книге А.И. Солженицына «Октябрь Шестнадцатого» уловил и нашенские слова, и выражения: стало быть, пригодилась записка. Теперь она в виде повести стала памятником родному селу, исчезающему на глазах. Входит в книгу «Хроника одной души».

**Замятин**

До 1957 г. об этом писателе знал разве что понаслышке. Все мои помыслы были библиофильскими: без конца ходил по букинистам, разыскивая редкости или то, что считал редкостью. Под запретом была, по существу, вся новейшая литература, и перечень книг, не подлежащих приему, товароведы хранили особо – многостраничный пухлый том на глаза не попадался. Но основные имена, преимущественно из Русского Зарубежья, книжники-любители знали, а кое-кому на толкучке – собирались в центре Москвы, около магазинов старой книги, – их произведения удавалось обменять на что-нибудь редкое или модное. Мое увлечение с юных лет – Тютчевиана, собирал Тютчева и все о нем. Побывал, разумеется, в Муранове и даже в Овстуге – родовом имении Фёдора Ивановича на Брянщине. Собирал Иннокентия Анненского и «короба» прозы Василия Розанова, а еще русскую фольклористику и мифологию.

И вот Замятин прозвучал, да так живо, из уст Галины Андреевны Белой, нашей наставницы, особы яркой и ярой, одухотворенной словесностью и благосклонной к любознательным слушателям. Она-то и прочла нам, студентам, лекцию о Замятине, а потом принесла его книги из библиотеки Института мировой литературы, где сотрудничала после защиты диссертации. Когда я вник в повести этого писателя и прочувствовал его язык, склад речи – стало ясно: это наш, тамбовский, из Лебедяни. Захотелось побольше собрать его произведений, что оказалось совсем не просто. В крупнейших собраниях Москвы – в Румянцевской и представительной Исторической библиотеках – выдавали на руки совсем чуть, а что рассеяно в журналах его времени – путеводителя нет, нужна библиография. Загорелся делом – стал добывать редкости через книжных «стрелков», знаемых все на тех же толкучках и сшибающих здесь барыш. Правда, бывали тут и преданные ходебщики за книгами – одни из них подбирали поэтов Серебряного века, другие собирали рижские издания и, конечно, «ню», литературную клубничку. Со всеми дружил, теперь все «стрелки» знали, что мне нужно, и время от времени кое-что предлагали, за деньги или в обмен; сделка полюбовная. Книги, напечатанные за рубежом, и неведомо как оказавшиеся в руках москвича; роман «Мы» и сборник публицистики «Лица» – найдены, но цены кусались. Пришлось

отдать, что требовали; были приобретения из этого ряда и позже. Помогали добрые люди. В Пушкинском Доме библиограф Алексеев предоставил мне личную картотеку с росписью русской периодики на Западе. Библиографию составлял по крупиночке, по восьминочке. И получилось, наконец, лет через девять.

К 1967 г. составленная мною библиографий публикаций самого Евгения Ивановича Замятина и литературы о нем была готова, объем ее – 30 машинописных страниц. А в это время Публичка – библиотека Салтыкова-Щедрина – разворачивала многотомное издание библиографических справок, посвященных прозаикам XX в. Вот, думаю, сюда и ткнусь. Запасся рекомендацией К. Федина – как-никак он знал моего героя; и повез я в Ленинград свой товар. И вроде бы договорился с дирекцией библиотеки о включении Замятина в очередной том. Тамошние штатные библиографы, Н. Захарченко и Л. Шепелёва, одобрили мою разработку, присоединили к делу. Летним днем 1967 г. приехал из Москвы узнать, как обстоят дела. И что же? Вышли навстречу мои библиографы, и с ними еще одна, зовут Инной. Сообщают как бы с грустью: Замятина не пропускает цензура. Не пропускает еще Пильняка и Солженицына, обе библиографии тоже готовы. И в разговоре проскальзывает досадная деталь. Оказывается, в Салтыковке собирал материалы по Замятину американский исследователь Алекс Шейн, и он попросил библиографов дать ему мои наработки. Они все мои 30 страниц машинописного текста – ему в руки, пусть пользуется, здесь все равно запрет. «Вы не против?» – спрашивают. Какой смысл «против», ежели труд ушел. Конечно, кошки заскребли душу, горько было. Утешался тем, что мои находки в дело пойдут. Важнее всего было сознавать: Е.И. Замятиным занимаются, и общими усилиями разомкнется глухота и немота вокруг опального и оболганного на Родине имени. Спустя год, в 1968 г., в США вышла в свет докторская диссертация Алекса Шейна, посвященная творчеству Замятина, и в разделе «Библиография» я обнаружил все то, что разыскано было только мною, в частности профессиональные его статьи по кораблестроению, писатель ведь был инженером, строил суда на верфях. Двадцать лет спустя мы с Алексом подружились и вместе ездили в Лебедянь. Но к тому времени я охладел к Замятину и уже давно жил только Солженицыным.

Всколыхнуло меня Письмо Александра Исаевича к съезду писателей, в нем был развернут длинный свиток отторгнутых от народа даровитых мастеров слова, изруганных и поносимых. То было, кажется, в мае 1967 г. В этом свитке запрещенных властями имен упоминался и Замятин. Нашел рязанский адрес писателя, послал письмо.

*Глубокоуважаемый Александр Исаевич!*

*Непредвзятое восхищение Вашей нравственной и гражданской позицией освобождает меня от долгих признаний и объяснений. Скажу лишь: все, кто хочет столочить Вас, исчезнут чадом. Солженицын же останется совестью наших лет и будет передан следующим поколениям в цепи немеркнущих имен.*

*Одно звено этой цепи – Евг. Замятин – мне особенно дорого. Свои симпатии к нему я выражаю кропотливым трудом – составляю библиографию его произведений, коплю материалы к жизнеописанию Евгения Ивановича. В этом и счастье обретаю.*

*Прочитав в Вашем Письме к съезду открытые слова об опальных литераторах, меня тронула Ваша уверенность в непременном возврате народу дорого имени Евг. Замятина. Спасибо Вашему зоркому сердцу, что оно чувствует справедливость! Если бы по-настоящему издать Замятина, то перед читающей публикой предстал бы автор 12 превосходных томов. Знают же – только толику.*

*Посылаю Вам в дар фотографию Евг. Замятина, отснятую в 25-м г. Наппельбаумом, и его книжку («Нечестивые рассказы»). Посмотрите, пожалуйста. Если найдете нужным, напишите свое мнение об этом писателе (хоть несколько слов, я их буду хранить верно). – 3. VI. 1967 г.*

Буквально через несколько дней получил драгоценный ответ от Александра Исаевича.

*Глубокоуважаемый Александр Николаевич!*

*Вы растрогали меня присылкой книг Замятина и фотографии его. До сих пор ни одной его книги я сам не имел, а только читал при случае. Вы поразили меня, что так много у него написано. Во встречавшихся перечнях его вещей мне так и казалось, что – мало, не достает чего-то. Но чтоб двенадцать томов!*

*Может быть, Вы разрешите мне когда-нибудь с чем-нибудь познакомиться?*

*Я читал его «Мы» (блестящая, сверкающая талантом вещь: среди фантастической литературы редкость тем, что люди – живые и судьба их волнует), сборник рассказов «Островитяне», да пьесу об инквизиции, название которой забыл. Вот, наверное, и все.*

*Присланное Вами прочту в ближайший месяц (это у меня экспресс-скорость, настолько мало на это времени). А пока спешу от души Вас поблагодарить.*

*Всего Вам доброго!*

*Рязань, 12.*

*Проезд Яблочкова, 1, кв. 11.*

Вот когда подошел срок показать библиографию Замятина, да никому другому, а большому писателю. Пишу ему письмо.

*Глубокоуважаемый Александр Исаевич!*

*Прилагаемый перечень вбирает основные публикации произведений Евг. Замятина, хотя в таком состоянии он и не допечен: ряд книг посажены в спецхран и мне пока недоступны. Библиография, как и краткая справочка о писателе, предназначены для совпечати (северная столица затевает издать путеводитель по творчеству отдельных литераторов, удастся ли его увидеть и как скоро – неизвестно), поэтому критическая часть покоится в основном на ругателях, вернее – и на ругателях. Схема списка – заданная, я бы предпочел хронологическую (для себя составил и такую).*

*Представляется, что 12-томник можно бы сформировать так (каждый том получает название главного произведения, положенного в основу цикла):*

*Т. 1. Уездное (повести и рассказы).*

*Т. 2. На куличках (повести и рассказы).*

*Т. 3. Островитяне (повести и рассказы).*

*Т. 4. Мы (антиутопия + рассказы «пещерного цикла» + Большим детям сказки).*

*Т. 5. Нечестивые рассказы (состав тома шире, чем содержание одноименной книжки).*

*Т. 6. Закулисы (статьи о литературном мастерстве + брошюра об Уэллсе).*

*Т. 7. Бич Божий (неоконченный роман, варианты + Наводнение).*

*Т. 8. Театр (пьесы, инсценировки).*

*Т. 9. Лица (воспоминания, лекции).*

*Т. 10. Р. Майер (+ инженерные статьи).*

*Т. 11. Неопубликованные материалы. Письма.*

*Т. 12. Письма.*

*Архив Замятина объемен. Из отечественных хранилищ самые значительные – Институт мировой литературы и Библиотека Салтыкова-Щедрина. Эпистолярное наследство – несколько сот писем родным, близким и современникам – неотрывно от творческих исканий, от жизненных фактов писателя, поэтому ему в Собрании место – полтора последних тома.*

*В посылку положены пять книг Е.И. Замятина и два альманаха, в которых он участвовал. Здесь же найдете фотокопии двух статей («Я боюсь» опубликована в сб. «Дом Искусства», № 1, 1921; «О синтетизме» – в кн. Ю. Анненкова «Портреты», 1922). Возврат – не к спеху, когда не нужны станут. Библиографию (на 30 страницах) возвращать не надо.*

*Пьеса об инквизиторах – «Огни св. Доминика».*

*Желаю Вам, Александр Исаевич, нескудеющего здоровья, осуществления всех Ваших намерений.*

*А. Стрижёв.*

*Последний московский слух – о статье Ф. Бурлацкого и Л. Карпинского в «Комсомолке» (от 30 июня, стр. 4), за которую снят редактор этой газеты Б. Панкин и разжалованы авторы (Бурлацкий – политический обозреватель «Правды»). Статью расценили как поддержку Вашего письма к съезду.*

*13. VII. 1967 г.*

Месяца через полтора получил коротенькую записку от Александра Исаевича. Послана им 2 сентября того же 1967 г.

*Многоуважаемый Александр Николаевич!*

*Я еще не был дома и не видел присланной Вами бандероли – однако могу уверенно поблагодарить.*

*«Нечестивые рассказы» прочел, скоро напишу Вам о них.*

*Может быть, позвоню, если буду в Москве с просветом времени.*

*Всего доброго!*

*А. Солженицын.*

Позвонил мне 23 ноября 1967 г. Встретились в редакции «Нового мира». Впервые воочию вижу знаменитого писателя. Он стоит у обширного окна, и в естественном свете я вижу его, высокого и доброжелательного. У стены напротив за столиком сидит, как послышалось, Анна Берзер. Не успели перемолвиться, как из кабинета показался Ефим Дорош, пригласил Александра Исаевича зайти. И вместе они закрылись для беседы: решалась судьба «Ракового корпуса». Через недолгое время Солженицын вышел, и мы отправились на Тверскую. Гляжу на него: лицо подвижное, как и сам весь подвижен. Глаза пронзительные, вострые. Продолговатый овал лица окаймлен бородкой. Лоб раскроен шрамом.

Удивляется моему возрасту: «Думал, что вы старый библиофил, знавший Замятина».

Выходим на улицу. Мокрый снег падает на матерчатую куртку писателя, на его шапку-мурмолку, на мои очки.

Спускаемся вниз по Тверской. Говорит о Замятине, восхищается его находками. Считает правильным его утверждение (в статье «О синтетизме»), что машинизированный век убыстряет, сжимает стиль, как бы спрессовывает прозу. Но Солженицын предостерегает от увлечения «синтезированием» – не отбить бы читателя сложностями.

Говорит о влиянии Замятина на Дж. Орвелла («1984»): похож на «Мы», только более трагичен. Нет замятинской радости и искрометности. Интересуется отъездом Замятина, болезнью, почему так мало печатал.

В доме номер шесть, у Чуковских, Александр Исаевич вернул мне мою замятинскую подборку книг, кроме «На куличках» (говорит, «расчертил», читая, и отдать не сможет. А я-то и рад, к делу пришлось). Спустя несколько дней (29 ноября) пишу Алек-

сандру Исаевичу, стараясь поподробнее ответить на его устные вопросы. Вот эти строки.

*Дорогой Александр Исаевич!*

*Тогда я впопыхах не успел ответить на Ваши вопросы: волновался на радостях. А ответить хотелось бы. Попробую покороче.*

*Как выехал Замятин?*

*Когда началась невероятная травля писателя, инспирированная сверху, Евгений Иванович пытался объяснить, что «Мы» печатали там без его ведома (рукопись попала в Берлин к Гржебину в начале 20-х годов, предназначалась для 4-го тома Собрания, предпринятого концессионным издательством; вышло лишь 2 т.). Но маховик раскрутили, слушать было некому. В театре снимают с постановки «Атиллу», уже доведенную до премьеры, ни строчки не пропускает в свет Главлит. Замятин пишет письмо Рыкову, в котором говорит, что его как писателя приговорили к высшей мере наказания – к молчанию, излагает подробности нетерпимого положения, просит разрешения на выезд за границу, пока в России не установится нормальный общественный климат. После совета друзей Евг. Ив. решает обратиться с таким письмом не к Рыкову, выбрасываемому из седла, а к самому дядьке усатому, Сталину. В июне 1931 г. Замятин отнес Горькому письмо, а тот отдал его «в собственные руки». Максимыч убедил деспота дать вольную опальному литератору. В ноябре 1931 г. Евг. Ив. вместе с женой покинул Петербург.*

*От чего умер Замятин?*

*Страдал от трех болезней – от грудной жабы, колитов и бессонницы («перетерлись нервы» – выраж. самого Е. И.). Особенно мучила бессонница, спал слишком мало. В разгар травли все это усилилось. И все же Замятин в отчаяние не впадал. («Но я еще крепко держу вожжи и погоняю себя», – пишет он летом 31-го из-под Сорочениц, где отдыхал в деревенской, тогда уже тревожной глуши.)*

*В таком состоянии и выехал. За границей добавилась ностальгия. Родственники говорили мне, что Евг. Ив. умер от сердца. Но совсем недавно Мих. Слонимский в разговоре сказал: Замятин скончался от рака, так показало вскрытие.*

*Чем мне дорог Замятин?*

*Бесстрашной искренностью, несгибаемой прямотой, когда разоблачает ложь затверженных формул. Замятин распознал гибельность тирании равенства, поведал об этом с нескрываемым осуждением, вступился в защиту свободы. Замятин оставался революционером в ту пору, когда надобность в революционерах миновала, когда их стал уничтожать узурпатор. Я восхищаюсь этим человеком, хочу быть чем-то в его писательской судьбе на Родине.*

Замятину мною было посвящено 10 лет жизни, занимался с 1957 по 1967 г. – время осознания и самоутверждения в чуждой действительности. Надо было по возможности отыскать современников писателя, побывать в его родной Лебедяни. И вот я уже взбираюсь на Тяпкину гору, в старину-стародавнюю здесь, на крутом берегу Днепра, прятался разбойник Тяпка, налетал с ватагой на торговые суда. Прошли века, и на Тяпкиной горе возвысилась славная Лебедянь, с ее Троицким монастырем, соборами и церквями, с ее конскими ярмарками и яблочным изобилием. Лавки ломились от снеди, горожане похвалялись выпечками, молочными скопами, придумками разных сластей. Но то было давно, а в феврале 1966 г., когда я приехал туда, жизнь там держалась скудная. Водит меня по слободам Петр Николаевич Черменский, известный краевед, историк Тамбовщины и друг детства Замятина. В Покровской слободе нашли дом Замятиных и совсем крошечную избушку его бабушки Анастасии. Надо было отыскать живых прототипов повестей лебедянского цикла, а кого уже не было в живых, пошли на кладбище и там, утопая в снегу, читали надгробные надписи. Позже я не раз наведывался в Лебедянь, но такого летописца ее прошедшей жизни, такого провожатого по городским слободам не встретил.

Поиски источников библиографии требовали прояснения многих вопросов по существу. Так завязалась переписка, собеседования с нужными людьми, архивные разыскания. Первым делом обратился с письмом к Корнею Ивановичу Чуковскому. Написано оно 15 мая 1965 г., и в нем поведал о мучившем меня вопросе. «Я составляю библиографию Е.И. Замятина, беллетриста-“еретика”. Предприятие больше для себя, но может пригодиться и для других. Мне необходима одна справка. В “Русском Современнике”,

соредактором которого Вы были с первого по четвертый номер, публиковался “Паноптикум”. Тетрадь примечаний и мыслей Онуфрия Зуева – горестные заметы на полях книг разных авторов. Весь дух заметок напоминает замятинскую работу. Но поскольку полной уверенности у меня в этом нет – включить их в “путеводитель по Замятину” рискованно. Не соблаговолите ли Вы разъяснить мне, кто автор “Паноптикума”? На Вас вся надежда. Чтящий Вас А. Стрижев». Очень скоро, недели через полторы, получаю драгоценный ответ. Вот это письмо Корнея Ивановича.

*Дорогой Александр Николаевич!*

*Вы угадали вполне безошибочно: «Паноптикум Онуфрия Зуева» составлялся Евгением Ивановичем. Материал для «Паноптикума» давали ему Н.О. Лернер, Ю.Н. Тынянов и я. Где-то в моем архиве хранятся исключенные из журнала страницы «Паноптикума». Словесное оформление материала принадлежит Евгению Ивановичу – ему одному.*

*Сейчас мне нездоровится, но если мне будет лучше, я с удовольствием разыщу и предоставлю Вам письма и записочки Е.И. Ведь мы редактировали с ним журналы «Запад», «Дом Искусств», «Современник» и ряд англ. книг.*

*Но сейчас даже это письмо и то мне далось с трудом. Простите, пожалуйста.*

*Желаю Вам успеха!*

*Ваш К. Чуковский. 17. V. 1965.*

Это доброжелательное письмо Корнея Ивановича подвигло меня к поездке в Переделкино, чтобы показать знаменитому современнику собранные мною фотографии Замятина, копии изобразительных материалов – художественных портретов писателя, карикатур, в том числе злобных, и другой мелочевки. Собирал все это несколько лет, для этого отыскал по разным российским углам племянников Евгения Ивановича, вынужденных покинуть Лебедянь. В добротном альбоме, купленном в Риге, мною были расклеены увеличенные портреты и все, что накопилось в поиске. Взял и конверт с оригиналами – вдруг Чуковскому понадобится показать. В Переделкино поехал 16 июля 1967 г. Встретила меня секретарь Чуковского Клара, ей и вручил альбом на просмотр Корнею Ивановичу. Недолго мне пришлось ждать на скамейке

в саду, как на крылечке появилась Клара и позвала в дом. Иду за этой грациозной, высокой женщиной по лестнице, и на втором этаже, на веранде, подходим к Корнею Ивановичу.

– Вот на фотографиях везде он черный, а он был русый. Бывало, выйдет из воды – купались не раз – русак русаком. Манерничал на английский лад. Говорил «ол райт», курил трубку. Хлопотал за всех. То комнату Мандельштаму, или еще кому что.

«Мы» читал у Волошина в Коктебеле. Месяцев через пять после переворота он и Людмила Николаевна возненавидели новый режим. Маёвки справляли по старому календарю, у Ахматовой (Людмила Николаевна с Ахматовой была в большой дружбе). Декретное время не признавал. Часы так на два часа и опаздывали, показывая мифическое время.

Защищал со мною Лернера. Горький вдруг стал считать Лернера доносчиком Чека. Перестал ходить на собрания «Всемирной литературы». Я и Замятин пошли к Горькому, объявить, что Лернер ни при чем. Кажется, убедили. Но когда Горький пришел на собрание, то, снимая черные перчатки (уже обзавелся такими), только и выдавил:

– Я жалею, что вам об этом сказал.

И ушел.

Все поняли, что он остался при своем.

Замятин ходил к Горькому еще, все по тому же лернеровскому вопросу. Безрезультатно.

Некоторые факты, положенные Замятиным в основу рассказов, рождались у меня на глазах.

В Холмках (под Псковом) у нас была колония. Жили: Замятин, Чуковский, Зощенко, Добужинский, Радлов и др. Там, между прочим, была княгиня Софья Гагарина, влюбленная в Замятина, а в нее был влюблен Добужинский. Ситуация. Но не об этом. Там же жил дьякон, который волочился за женой слесаря (работал день в неделю, остальные дни слонялся как бы выпить да за бабами). Слесарь взял и покрасил скамейку. Парочка – дьякон и жена слесаря – выкрасились в полоску. Эпизод вошел в рассказ «Икс».

Был нэпман Слонимский, отец нынешнего театрального критика, разбогател на портновском деле в 1915 г. Деньги прятал под половичку паркета, где и сгрызли их мыши. Эпизод попал в рассказ «Пещера».

Работали до упаду. Бывало, лежим на ковре, Замятин говорит:

– Кто этот поэт на букву ЭФ?

Ломаем голову. Потом оказывается – Тютчев – Ф.Т.

Составлял в «Современном Западе» хроникальный раздел – кропотливейшая работа. Это была выборка из иностранной периодики. Английский мы оба знали дилетантски. Лекции читал в Лесном, Политехническом институте и в Доме Искусств – везде небольшой группе. В Политехническом, кроме английского языка, преподавал техническую эстетику.

Себя не жалел, утомлялся очень, курил сильно. Всё удивлялся я, как он много читал. Долго переживал расстрел Гумилёва.

Пятый номер «Русского Современника» был подготовлен. Человек, который субсидировал журнал, под давлением властей отказался давать деньги.

Вначале цензура не разбирала, что к чему, пропускала спрятанный острый смысл. Затем утвердился цензурный гнет. На петербургские издательства давил литературный дядька из породы бешеных – Ионов, как его называли, Ионушка.

Предисловие Анненкова в «Портретах» редактировал я, тексты Бабенчикова и Кузмина – Замятин.

Дача «Всемирной» была под Сестрорецком.

Замятин запомнился очень общительным, компанейским. Мы были тогда легкими.

Корней Иванович еще раз просмотрел альбом, спросил: где оригиналы фотографий. А они были со мною: вынул из портфеля конверт, выложил содержимое на стол. Конечно, на некоторых оригиналах сказалось время, ведь родные писателя боялись преследования и прятали архив – письма, книги с дарственными надписями, фото, как могли, в Тамбове и Саратове, где жили после Лебедяни. К концу нашей беседы в комнату Корнея Ивановича вошли Лидия Корнеевна и дочь ее – Елена. Познакомились взглядами. Лидию Корнеевну я знал по ее превосходной книге, посвященной литературному труду. Позже, прочитав ее воспоминания о детстве, чистые и сильные внутренним порывом чувств, восхитился этой прозой, отмеченной высоким мастерством и мудростью. В фамильной оправе Чуковских Лидия Корнеевна – крупный бриллиант нашей словесности. В профиль лицом она напоминала Петра

Великого – так показалось. Елена хорошо дополняла эту семью в полном сборе. Узнав, что на днях я еду в Ленинград, Корней Иванович передал мне письмо к Вере Александровне Кюнер, секретарю «Всемирной литературы»; ее я собирался посетить. И посетил, конечно, потому что она первой значилась в моем списке живых сподвижников Замятина. Из питерцев были в том списке и Елизавета Григорьевна Полонская, и Михаил Леонидович Слонимский, и дочь художника, Ирина Борисовна Кустодиева, и Ксения Александровна Куприна. Сверх того, был и на квартире Михаила Зощенко, беседовал с его вдовой, Верой Александровной, а из московских знакомых Евгения Ивановича первым делом сходил к маститому Константину Федину и Владимиру Лидину. Все они были радушны и заинтересованы в моем поиске. А ведь вел его, по существу, подпольно, как должно – от души, искренно.

К Ирине Борисовне Кустодиевой ходил вместе с племянником Замятина, Сергеем Владимировичем. Встретила веселыми рассказами о том, как отец чуть ли не ежедневно рисовал ее младенцем. Рисунки эти были известны. Один из них подарила на открытке с теплой надписью. Разговор пошел о Лебедяни, куда Замятин возил Бориса Михайловича, уже разбитого параличом. Наняли приличный дом, из его окна живописец рассматривал уличные сцены. За короткое время им было написано здесь шесть этюдов маслом. На стене у Ирины Борисовны вижу четыре, разглядываю, умиляясь: как живые ходят гуси на лугу, вот церковь, видная из окна. Всё непременно кустодиевское. Как же картины такого художника дома держать? Их место в музее. И мы с племянником Замятина устроили покупку Тамбовским художественным музеем этих лебедянских этюдов, написанных Кустодиевым за год до кончины.

Всякий интересный человек радовал меня и шел мне навстречу.

## Возвращение

Россия, стоя, встречала возвращение Солженицына к себе. Да так, стоя, и держалась всю дорогу от Владивостока до Москвы. Сбегались люди к поезду на остановках, ликовали, глядя на Александра Исаевича, приветливо улыбающегося сквозь дверной проем.

Не Апостол свободы, не Пророк глобальных перемен ехал через всю свою страну. В восторженных глазах у многих стояли слезы от счастья видеть великого человека. Всполошились разве что плюралисты, им ведь истинный вожак русских – поперек горла. Но и Россия к моменту возвращения писателя была во многом обессмысленной, поверженной в нищету. Литературные плотины прорваны, и грохочущие потоки словес хлынули со всех сторон на обескураженного человека, разучившегося читать. Облюбовали книгу по понятию, руководясь пристрастиями кружков, движимых к смутно обозначенной цели. Потянулись к православным истинам, к идеям державности, к историческим корням. Солженицын стал востребован людьми всех уровней знаний после публикации его гражданской декларации «Россия в обвале». Какое предвидение, какая боль за свой народ! Александр Исаевич стал поистине народным глашатаем. Его публицистика обжигала пламенным словом, рождала новые мысли и вселяла в душу надежду на спасение. Просветительский трактат Солженицына «Двести лет вместе», крепкий выверенными мыслями и верный историзму двух народов, был исключительно важен для одного и другого, да так и понимался почти всеми, за вычетом национально обособленных. В суматохе тех лет основоположительные труды великого писателя усваивались отрывками, и для цельного их усвоения потребуется время, отодвигающее публику от центров кипения страстей. А деление на станы – правый и левый – привело к тому, что в правом утвердился фундаментализм, и часть правых сделалась даже правее правого смысла, да и в левом стане возобладали русофобия и нигилизм – чем хуже, тем лучше. Великий же писатель стоял за естественное возрастание силы и разума, за милосердие и совестливое отношение друг к другу, за дарование Божиего благословения на расстроенные души.

Радушна была наша встреча все в том же кабинете писателя, как 20 лет перед тем. Александр Исаевич подарил мне пластинку со своим голосом – читает «Пир победителей» – и с теплой надписью трактат «Россия в обвале».

А я принес ему его письма к тетушке, Ирине Ивановне Щербак, привезенные из Георгиевска в поездку с Еленой Цезаревной. Он все такой же подвижный и оживленный, как прежде, рыцарственный и благородный. При нем я всегда чувствовал некоторую

неловкость провинциала, закрытость из-за боязни сказать невпопад. Раз так и случилось: подмывало меня усомниться в необходимости одобрять им расстрел Белого дома. Сказал, вижу – не обиделся. И чего бы это мне лезть с упреком? Иногда лез некстати с уточнениями, совсем ненужными. Зато когда касалось моей записки о военном детстве, набросанной для него одного, Александр Исаевич, добродушно улыбаясь, восхищался языком и знанием крестьянского быта. Может быть, ему еще что-то нравилось в той записке «Из малых лет», главное – хвалил язык тамбовского села, язык моей родной сторонки. Рассказал я Солженицыну о том, как обиделись в моем селе на прозвища, которые я неприкрыто воспроизвел: никому не хотелось увидеть себя в зеркале как есть. Все ведь давно сделались другими, но и прошлое отменить нельзя. Для меня же было главным – показать жизнь обиходную, с болью и радостями, ежели перепадали…

В конце 1980-х, когда наметилось обрушение режима, я решился попробовать опубликовать свою записку о военном детстве. Понес в журнал «Москва», и к своему изумлению вскоре узнал: повесть там готовится к печати и всем понравилась. То, что не смущало Михаила Алексеева, человека старого закала, через месяц-два ополчило против меня, казалось бы, писателя из новой поросли, Владимира Крупина – он уселся в кресло бывалого литератора. Крупин, с показной набожностью, став начальником, с маху отверг мою повесть. Получается: русский русского не разумеет и своим не помогает. Пусть прет серятина и словоблудие, зато это – ближе к его потугам. Вернули уже одобренную повесть, но я смиряться с проделками Крупина не стал.

Завязалась дружба с Вадимом Борисовым. Человек он мягкий, симпатичный и добропорядочный. Пошел к нему в «Новый мир» с обширной подборкой «Замятин на фоне эпохи». Только что в этом журнале появилось нечто похожее по форме и важное по сути из жизни Николая Клюева, поэта самородного, умученного большевиками. Моя рукопись лежала в редакции без движения – там, по-видимому, раздумали помещать такие подборки. Зато когда ко мне лично обратился молодой ученый из Германии, Рейнер Голд, с просьбой помочь ему с материалами по Замятину – работал над докторской диссертацией, посвященной произведениям литературного «еретика», – я обещал ему показать свою подборку.

Но она в «Новом мире», настойчивый немец – туда. Вадим Михайлович выдал докторанту мою рукопись, и вот через короткое время Рейнер Голд вручил мне солидную книгу, в которой на 600 страницах много раз даны подробные ссылки на мою подборку к Замятину. До сих пор с ним в друзьях. В ту пору, или чуть ранее, Елена Цезаревна передала мне копии писем Замятина К.И. Чуковскому, которые с немалым трудом достала в рукописном отделе РГБ. Сама же и сдавала туда оригиналы, но они пребывали в «подложке», не обработанными, и в таком виде не выдавались и не копировались. Наконец ксерокопии писем в руках, можно было бы с ними работать. Но комплект писем большой, и для плотного комментария у меня уже недоставало ни сил, ни времени. К тому же теперь к Замятину душа не лежала, как прежде, – перегорело. Пришлось письма вернуть Е. Ц. Но мне хотелось чем-то порадовать замечательного человека. В разговоре узнал, что Леночка собирается переиздать книжку Деда «Вавилонская башня», в полном виде, как задумывалось. Но вот беда – нет подходящих иллюстраций, чтоб были на библейскую тему и сделаны мастерски. Вспомнил, что у меня есть альбом старинных гравюр, счетом 84: рисунки художника Агина, гравюры на меди резал Гагарин. Альбом выпустила Академия Художеств в 1842 г., в год, когда вышли в свет «Мертвые души» с сотнями картинок все того же Агина. Принес библейские гравюры Елене Цезаревне, часть из них была окантована, так что стекло и окантовку пришлось снять. И вот она любуется графическим прочтением Библии, довольна. И я радуюсь, ведь эта милая женщина редко о чем просила, но щедрость ее для других была исключительной. Лишь бы на пользу шло, лишь бы к делу – так было целых 50 лет нашего дружества! 50 лет, и представить себе все невозможно, как переживал, смущался, радовался. С нею общаться легко, если к тебе доверие есть и во всем держишься прямо.

В середине 1990-х годов я, насколько мог ревностно, собирал тексты Леонида Федоровича Зурова, даровитого писателя Русского зарубежья, и все, что с ним связано. Когда в Москву прибыл багаж с частью архива Зурова, переданной Александру Исаевичу литературной наследницей Л.Ф., шотландкой Милицей Грин, надо было попросить А.И. Солженицына поработать с бумагами этого фонда. Разрешение было дано, и я отправился в центр, на Таганку.

Там знали, что приду, но показать рукописи не готовы – архив еще не был целиком распакован, – и для начала показали только опись. Но мне и этого было достаточно, чтобы составить представление о присланном. Однотомник этого талантливого беллетриста, составляемый мною, включал повести, рассказы, воспоминания самого Леонида Федоровича, а также литературу о нем и библиографию. Всё это вышло в свет отдельным томом Зурова в 1999 г., объемом 600 с лишним страниц. В России то было открытием имени, не только столь славного потом на Псковщине, родине писателя, но и известного всем буниноведам, утвердившимся повсеместно в России, знакомым с перипетиями эмигрантских лет Бунина и Зурова. К сожалению, кроме упомянутого однотомника отдельных собраний художественных произведений Зурова до сих пор не появлялось. Зато полная библиография творческого наследия этого даровитого мастера слова опубликована в бумажной и электронной версиях. Благодаря Елене Чуковской однотомник Зурова попал к Ричарду Дэвису, хранителю архива И.А. Бунина и Л.Ф. Зурова в Лидсе (Англия). Приблизительно в то же время мы с Еленой Цезаревной в числе других исследователей подписали протест против наглых требований замшелых отечественных литературоведов, замышлявших силой, с помощью правительственных чиновников, вернуть архив И.А. Бунина на Родину. Разве невдомек им, что Зуров, прямой наследник этого архива, настойчиво предлагал переместить все бумаги архива Ивана Бунина в Россию, не требуя за это никакой платы. Но у нас глухо отнеслись к этому, бездумно – табу. А за рубежом после 1971 г. архив изучали, берегли и по сию пору берегут другие люди, в другой стране. И не наглые требования надо выдвигать, а убедительно просить нашим архивистам Лидских архивистов о творческом содружестве. Такая работа теперь ведется, и сборники «И.А. Бунин. Новые материалы» (три выпуска) – тому свидетельство. А наш протест против литературных ханжей был опубликован в газете «Известия».

Вспоминая славную Елену Цезаревну, упомяну и о чисто домашней встрече. В середине 70-х Леночка посетовала, что вот не знает, как лучше озеленить могилу Корнея Ивановича. Это требует особого умения и особого подбора растений. В журнале «Цветоводство» работала моя знакомая, Татьяна Клевенская, скромный

и отзывчивый человек. Познакомил их, договорились о встрече в Переделкине. Таня привезла еще одного озеленителя. И вот мы на даче Корнея Ивановича. В возглавии стола кремень, Лидия Корнеевна. Были всякие предложения по составу трав, исключая красивоцветущие. Я предложил остановиться на барвинке, можно сказать, вечнозеленом: уходит под снег бодрым и ранней весной остается таким же. Его кожистые листья сменяются постепенно летом. Цветет неброско, голубыми цветками, не заглушая плотный ковер зелени. Ботаники называют барвинок «цветком Руссо» – дань «Исповеди», в которой Жан-Жак опоэтизировал барвинок, описывая поездку в Альпы, где его очаровательная спутница так восхитилась этим растением. В народе барвинок называют «гробовой травой» – издавна им украшают могилы. Можно было бы посадить еще функию: у нее прочные широкие листья с заметными жилками – вроде натруженной ладони. Каждый из нас что-то предлагал. Мое предложение понравилось, растения я передал сюда со своего участка. Лидия Корнеевна всех внимательно выслушала, поблагодарила, а напоследок расспросила Клевенскую о ее журнале «Цветоводство», кто и что пишет им. Когда о деле говорят – с Лидией Корнеевной легко общаться. Талантлива во всем.

Перейду к эпилогу. Начался он бодро, как это и всегда бывает. При встрече на квартире Солженицына – ее вернули писателю после изгнания – Александр Исаевич подготовил для меня маленькие поручения: что-то уточнить, что-то выписать; на листочках было написано, что именно. На расходы из Фонда дал средства. Поручения эти были совсем не обременительны для меня, но требовали частого посещения библиотек, куда все равно ходил. И дело вроде бы поначалу пошло. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. По своей необдуманности я, не считаясь с возрастом, хватался на участке за тяжести и… надорвался. Предстояла операция, ушивали левосторонний разрыв. На это ушло недели две, да еще несколько дней после. И вроде бы все закончилось благополучно. «Вроде бы» обернулось новым испытанием, более суровым. Оказывается, правосторонняя надорванность спровоцировала ущемление. А это – все, ежели вовремя не попал на стол хирурга. Сложная операция окончилась, но ходить мог только по комнате. Да вот еще беда – пропал нормальный голос – стал

слабым и скрипучим. Только что вышел на работу – устроился в околоцерковное издательство «Паломник», где подбирал литературные материалы для детского журнала «Купель» и одновременно составлял книги благочестивых писателей и духовных подвижников – вот в такую-то пору раздался звонок, в трубке слышу голос Александра Исаевича. Мне хочется ответить на приветствие достойно и по делу. А у меня пересохло в горле, и я скрипучими словами пытаюсь сказать о немочи и о том, почему так долго не возникал. Не сумел только упомянуть, что надеюсь поправиться и тогда стану в строй. Подробности операции излагать, конечно же, излишне, особенно в редакции, где прислушиваются: Александр Исаевич в самом начале сотруднице, взявшей трубку, назвал себя и сказал, кого надо позвать. Изумление всеобщее, а я – никакой. Право, мне до сих пор весьма неловко за свою физическую несостоятельность и за скомканность разговора по моей вине. Александр Исаевич глухо попрощался, и телефон затих.

Ну, думаю, поправлюсь и все объясню. Но поправился лишь слегка, ноги меньше подкашиваются, а уверенной поступи нет. В «Румянцевскую библиотеку» не хожу, ступенчатый пандус там без перил, сойти не могу. В «Историчку» тоже путь заказан – метро с пересадками. Позже и вовсе приключилась беда – стал ни с того ни с сего падать в обморок. Три раза так припадки случались на улице, домой еле доводили добрые люди. С тех пор никуда не выхожу и занимаюсь дома, по возможности, – голова вроде бы не повредилась. А вот дойти до соседней улицы – проблема. Както раз Елена Цезаревна говорит по телефону, что для меня она держит два выпуска «Солженицынских тетрадей», как бы передать? Сама тоже не выходит – ноги не слушаются, при случае с кем-то передаст. А «с кем-то» не получилось, так и остался без тех заветных «Тетрадей». Поговорили еще, коротко повспоминали. А потом кончина славной Елены Цезаревны, женщины поистине святой, так сказали на ее похоронах. К моему несчастью, там я не мог быть и только переживал. В душе ношу образы этих двух посвоему совершенных людей, живших для других и меньше – для себя. Так смыкается бытие земное с небесной вечностью.

*Август 2016 г.*